

ШАПИТО

РАССКАЗ

«Комната кривых зеркал.
Узрите Суть.
Вход — гривенник»

Александр Трофимов

Александр Трофимов

Шапито

<https://litres.ru/73921631>

SelfPub; 2026

Аннотация

В городе N. появляется балаган «Комната кривых зеркал». Его зеркала не лгут, а обнажают потаённую, звериную суть человеческой души. С ужасающей быстротой город погружается в пучину "освобождённого" греха, где порок и мерзость становятся новой, оправданной нормой, а стыд исчезает.

Александр Трофимов

Шапито

Случилось же сие, сколько могу теперь, в болезненной и мучительной гримасе памяти моей восстановить, в самом исходе октября, а может, и в начале ноября - числа, впрочем, не упомяну, да и к чему бы? - в ту самую ветреную, мокрую, как будто бы нарочно для какой-то подлой, безысходной муки приспособленную пору, когда самый воздух в городе нашем, в N-ске, - городишке, надобно сказать, дрянном, со всем его облупленным величием и пылью вековой, - делается не просто сырым, а каким-то ядовито-липким, едким, проникающим, кажется, сквозь всякую плоть и всякое, будь оно трижды проклято, плотное пальтишко, до самых костей, до того тайного, дрожащего от вечного озноба центра души, где только и теплится, что стыд да злоба. Небо висело низко, цвета разваренной до последней степени клейкости овсянки, - именно овсянки, сударь вы мой, той самой, какую в богоугодных заведениях подают, - и сеяло с утра не то дождем, не то мелкой, злой, моросью. Фонари, еще не зажженные в этот сумеречный, но уже до жути глухой час, стояли ровно покойники в сырых саванах тумана, и тени от мокрых тумб, от горбатых, точно нарывами покрытых, мостовых луж ползли навстречу редкому прохожему, словно бы хотели засосать его, затянуть в какую-то подземную, хлюпающую, бесконеч-

но глубокую пакость.

Я тогда, милостивый государь, квартировал, - ежели только возможно назвать квартированием бессмысленное прозябание в геометрическом ящике, - в углу, в доме старухи Зарницыной, у самого Обводного канала, где вода не течет, не движется, а именно что стоит студнем, отражая в себе облезлые, в струпьях и язвах кирпичных, громады доходных домов с их слепыми, гноящимися какою-то желтой, непроходящею слизью окнами. В комнате моей, узкой и длинной, словно гроб или пенал для казенного пера, стоял запах сложный, увертливый и до того гадкий, что я иногда по получасу, затаив дыхание, прислушивался к нему, стараясь разложить его на составные: тут была и кислая капуста, и мыши, и клопы давленные, и еще нечто сладковато-удушливое, тонкое, как будто бы тление собственной моей души, не нашедшей себе решительно никакого применения в этой чертовой, до отвращения правильной геометрии бытия.

Я лежал на продавленном диване, лицом к стене, на которой проступали какие-то масляные пятна, похожие на карту неведомого континента, и думал, - о, как я думал в те часы! - думал о том, что человек есть существо, несомненно созданное для страдания, но страдание-то это, заметьте, он принимает не просто так, а с какою-то подлой, внутренней, ликующей радостью, ибо только в нем, в этом непрерывном грызущем нытье, и осознает себя окончательно живым, отделенным от всякой иной материи. Впрочем, я, кажется, за-

бегаю вперед, философией сыт не будешь, а желудок, низкий и грубый раб мой, требовал хоть щепотки чаю, хоть глотку кипятку, чтобы не завывать волком в этом могильном склепе.

И вот в эту-то самую злую, промозглую, до сердечного содрогания отвратительную пору в городе нашем и объявилось Шапито. Нет-с, не цирк, - какое там, помилуйте! Цирк требует света, блеска, наглой, самоуверенной, барабанной какой-то радости, крика клоуна и визга наездницы. Это было именно шапито - облупленное, приземистое, как будто присевшее от страха строение из горбыля и просмоленной, почерневшей от времени рогожи, возникшее как-то в одночасье на Сенной площади, прямо на том самом, загаженном ошметками и рыбьей чешуей месте, где по вторникам торгуют требухой и вонючим тряпьем. Никто, - решительно никто! - не видел, как его ставили, как подвозили эти грязные, облезлые доски. Казалось, оно не было построено, но выросло из самой грязи, чавкающей под сапогом жижи, выросло само собой, как поганый гриб в одну сырую ночь, на удивление и на страх всему христианскому люду. Над входом, перекошенным и хлопающим на ветру мокрой, тяжелой холстиной, висела кривая вывеска, намалеванная, видимо, совершенно пьяною, трясущеюся рукой, и на ней неровными, срывающимися в бездну буквами было выведено: «*Комната кривых зеркал. Узрите суть. Вход - гривенник*». И буквы эти, особенно слово «суть», были обведены какою-то красною, похожею на запекшуюся кровь краскою.

Сперва, разумеется, народ, - а народ у нас, сами знаете, набожен до исступления и суеверен до дикости, - только плевался через левое плечо, крестился мелкими, быстрыми крестами и отворачивался. Особенно бабы на базаре, эти жирные, охрипшие от торга мегеры, в чьих глазах светился вековой, дремучий ужас: «Антихристово наваждение! Нечистый морок! Бесовское игралище! Свят, свят, свят Господь Саваоф!». Но любопытство, - ах, эта подлейшая, эта сладостнейшая из добродетелей человеческих! - оно, как известно, сильнее и страха Божьего, и здравого смысла, и даже самого инстинкта самосохранения. Человек, чем больше ему грозят бездной, тем неудержимее влечется заглянуть в нее, хотя бы и краешком глаза, хотя бы и заплатив за то вечным страхом и отвращением к себе самому.

Чиновник из управы, некто Полуяров, личность всклокоченная, желчная, с вечною складкою недовольства на челе и с усами сивыми, похожими на паклю, первый переступил этот заколдованный порог. «Чай, не рассыплюсь! - проговорил он громко и вызывающе, обращаясь не столько к окружающим, сколько к самому этому сырому, враждебному воздуху. - Что я, баба беременная, что ли? Али у меня душа крепостная? Гривенник-то и у меня найдется!» И с этими словами, ухмыляясь в усы и поправляя на шее грязный шарф, он нырнул в черную, пахнущую на него плесенью и чем-то сладким, как ладан, дыру.

Вышел он, я видел это собственными глазами, ибо сто-

ял тут же, у пирожного лотка, закутавшись в дырявый свой плед, - вышел он через четверть часа, но боже ты мой, в каком виде! Бледный, как полотно, без картуза, который, видимо, там же и обронил, не помня себя. Волосы его, и без того редкие, стояли дыбом, а глаза глядели куда-то поверх голов, поверх этих мокрых крыш и печных труб, прямо в это страшное, овсяное, бесконечно равнодушное небо. И губы его, синие, дрожащие, шевелились - не то молитву он творил, не то ругательство какое-то многоэтажное, сложное, душу изливающее про себя выговаривал. И вдруг - захохотал! Да как! Диким, утробным, каким-то стеклянным и разбитым смехом, от которого у толстой торговки пирогами ведро с горячими угольями с грохотом свалилось прямо в грязь, и пар повалил, шипя и клубясь, точно сама преисподняя на миг приоткрылась. А Полуяров все смеялся и пошел прочь, нетвердо ступая, словно у него кости переменялись, но спину держа прямо и даже как-то надменно, точно гордость какую новую, страшную и неотмирную в себе обрел.

С того дня и началось. Началось то, о чем я и пишу теперь, в бессоннице ночной, и сам не ведаю - для покаяния или для того только, чтобы еще раз, сладко и мучительно, ужаснуться бездне, которая есть в каждом из нас, и которую мы так старательно заваливаем тряпьем житейских забот, да вот она, гляди-ка, проросла сквозь рогожу балаганную, ухмыляется и гривенник просит... А впрочем, продолжаю по порядку.

В том-то и заключался самый подлый, самый дьявольский

фокус, милостивый государь мой, что зеркало сие - кривое, мутное, в пятнах какой-то застарелой сырости - не врало. О, нет! Именно что не врало ни на волос, и в этом-то, в этой неумолимой, почти эталонной точности, и таилась бездна, в которую все мы, как мухи на патоку, и поползли. Оно показывало не личину, которую мы с таким тщанием, с какою-то даже сладострастной любовью лепим для ближних и для самих себя, - нет, оно выворачивало человека наизнанку, оно сдирало с него кожу приличий и выставляло на позор и обозрение то самое нутро: гнусное, дрожащее от мелкого, непрестанного вожделения и столь же мелкой, липкой злобы нутро, которое мы всю жизнь хороним под спудом благонравия. И нутро это, - вот что страшно, вот отчего у меня до сих пор, когда я пишу эти строки, перо дрожит и царапает бумагу, - нутро это вдруг перестало быть стигматом, позорным клеймом, тайным грехом, о котором и на духу-то иному попу страшно признаться. Оно стало гербом. Да-с, гербом, дворянскою грамотой на право быть свиньей, на право хрюкать и чавкать во всю глотку, не оглядываясь и не стыдясь.

Я лежал на своем продавленном диване, в этой проклятой клетушке у и слушал, как с потолка, с того самого масляного пятна, каплет монотонная, разъедающая душу вода: кап... кап... кап... И думал я, сударь, о том, что город наш, этот скверный, продуваемый всеми ветрами N-ск, теперь уже не есть просто скопище серых, облупленных, заплеванных домов, где чиновники играют в штосс, а бабы торгуют гнилой

селедкой. Нет-с, он сделался чем-то иным - единым, пульсирующим, огромным и безобразным организмом, вроде той раковой опухоли, которую показывал мне однажды знакомый лекарь в банке со спиртом. И каждая клетка в этом организме, каждый человек, от мала до велика, сошел с ума по-своему и по-своему был в этом безумии глубоко, отвратительно счастлив. Ибо правда, открывшаяся им в кривом зеркале, освобождала от всего: от долга, от совести, от той пошлой, мещанской, придуманной кем-то морали, которая держала их в узде.

Но я ошибался в тот час, глядя в сырой потолок. Я полагал, что уже достигнуто дно, что дальше падать некуда, что поветрие сие, эта духовная чума, поразила лишь мелюзгу, вроде меня, или Полуярова, или тех мастеровых, что выходили из Шапито с мутным взором и начинали бить жен с какою-то особенною, философскою жестокостью. О, как я заблуждался! Настоящее-то, грандиозное, истинно гомерическое падение должно было начаться с тех, кто самим существованием своим, казалось бы, олицетворяли предел дозволенного, самую верхнюю, ослепительную точку человеческого благообразия и таланта. Тех, кого в грязных наших трактирах, залитых пивом и усеянных рыбьими костями, уже называли на иноземный, слащавый и глупый лад - «звездами». Словно бы эти небесные светила могли сойти на нашу Сенную площадь! А они сошли, сударь, сошли, да еще как, и при ближайшем, пристальном рассмотрении оказались вовсе не

звездами, а самыми яркими, самыми сочными, источающими зловоние гнойниками на разлагающемся теле этого нового, кривого, с ума сошедшего мира.

Далее, и это уж с неумолимостью судебного пристава, опи-сывающего имущество за долги, доказал некто, прозванный в народе, с какою-то подобострастною, но уже и насмешливою интонацией, Старым Шутом. Имя его я, пожалуй, и не назову, да и к чему? Вы все его знали, весь город его знал. Публика млела от его рулад и замирала от его стихов, положенных на сладкую, как мед, музыку. Это был человек-праздник, человек с вечной, словно бы приклеенной дорогим английским фиксатуаром, улыбкой на холеном, гладком, восковом лице, на котором, казалось, сама природа не оставила ни единой морщины, ни единого следа мысли или страдания. Он вещал с амвона светского салона, - ибо где же еще, как не в салоне графини В., воздвигать амвоны? - о высокой, почти небесной любви, о божественных звуках, о красоте, которая спасет мир, и барыни в бриллиантах и шелках млели, закатывали глаза под самые потолки с лепными амурами, а их мужья, пузатые, злые, с апоплексическими шеями, платили бешеные деньги, чтобы только послушать эти соловьиные, за душу хватающие трели. Все в нем было красиво, все пело, все дышало искусством. И он-то, этот небожитель, этот жрец прекрасного, взял да и сходил в Шапито. Спустился, так сказать, с Олимпа прямо в нашу грязь, да и заплатил свой гривенник.

И вышел он оттуда не с улыбкой, с которою вошел, а с оскалом. Именно с оскалом, и я настаиваю на этом слове! Ибо улыбка его, вечная, дежурная, сползла с лица, как сползает дешевая краска с лица потасканной кокетки под дождем. В тот же вечер, - мне рассказывал это половой из ресторации при гостинице «Лувр», малый наблюдательный и пьющий, но врать не станет, потому что слишком напуган был, - в тот же вечер, подавали, видите ли, не тот прожектор к его выходу на сцену. Мелочь! Техническая, подлая мелочь, на которую любой другой, даже самый нервный артист, ответил бы бранью за кулисами или припадком мигрени. Но Старый Шут, этот румяный, как бутафорский персик, купидон с перьями в напудренных волосах, вдруг озверел. Не просто рассердился, не просто вышел из себя, а именно озверел, потерял образ и подобие Божие в одну секунду.

Он кинулся на режиссера, - и заметьте, сударь, на женщину, существо слабое и, по самой природе своей, требующее защиты! - с каким-то животным, визгливым, утробным ревом, какой можно услышать разве что на псарне, когда у пса отнимают падаль: «Тварь! Да я тебя! Убью, растопчу!». Он бил ее ногами, - да, ногами, обутыми в тонкие, лаковые штиблеты, по которым дамы сходили с ума, - он таскал ее за волосы по залитому вином и усыпанному битым хрусталем полу, и в глазах его, налитых кровью, светилась не ярость даже, а та самая, освобождающая, ликующая правда, которую он, как в зеркале, увидел в кривом стекле Шапито. Правда

зверя, которому тесно, душно, невыносимо тошно в бархатном, расшитом блестками камзоле. Правда скота, который дорвался до корыта и не желает знать ни правил, ни приличий.

Потом, разумеется, были слезы. Было это гнусное, слащавое, рассчитанное на публику покаяние, в котором он, заламывая руки, кивал на докторов, на нервы, на «творческую, знаете ли, тонкость организации». Он говорил, и голос его дрожал, как у обиженного ребенка, что «болен», что «не ведал, что творил», что «это был не он, а темная сторона души, с которой он борется». О, святая простота! Он-то думал, что кается, а выходило - хвастает. Город уже знал, нутром чуял, что «болен» - это и есть новая правда, новая привилегия. Это отпущение грехов авансом, это железная отговорка для всякой мерзости. Его не осудили - ему заплодировали! Еще громче, еще истеричнее, чем аплодировали его романсам. Ибо в его падении все мы, мелкие, гаденькие, дрожащие за свои гривенники, увидели свое собственное оправдание. «Вот, - шептались теперь в очередях в Шапито, стоя по колено в грязи и глядя на хлопающую рогожу, - вот он, истинный лик человеческий! Уж если он, любимец муз, баловень славы, может быть скотиной, и не просто может, а есть она в самой своей сокровенной сути, то нам-то, грешным, нам-то, сирым и убогим, и подавно сам Бог велел!».

И Бог велел. Или, вернее сказать, черт велел, ибо от Бога ли это было - судите сами. И пошло-поехало. Словно про-

рвало плотину, и хлынули темные, теплые, зловонные воды, несущие с собой дохлых кошек, щепу и хохот. Все смешалось в этом проклятом городе, и я, лежа на диване, уже не слушал капли, а слушал, как где-то далеко, на Сенной, грохочет бубен и визжит шарманка, и казалось мне, что это сама преисподняя справляет свои шумные, бесстыжие именины.

А вслед за Старым Шутом, словно бы только того и ждали, словно бы только подали им знак с этих проклятых, хлюпающих под ногами подмостков, повалили в Шапито и прочие небожители, все эти ряженые, все эти помазанные елем славы идолы толпы, которым мы, сирые, с таким подобострастием кадим и аплодируем, воображая, что в них-то и есть соль земли, светоч и оправдание всей нашей серой, бессмысленной жизни. И боже ты мой, что за вереница потянулась к этой облезлой, провонявшей псиной и кислой рогожей дыре! Одного за другим выплевывало их Шапито обратно на Сенную площадь, но уже не людей, а какие-то ходячие, кривляющиеся вывески собственной душевной падали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.